

ВАЛЕНТИНА АМИРГУЛОВА



ДЕРЕВЯННАЯ РАКА

РАССКАЗ

Тод, когда страна собиралась праздновать пятидесятилетие вождя мирового пролетариата Иосифа Виссарионовича Сталина, был переломным и для Орловской губернии. Давнишние сознательные враги вождя хотя и все реже грозили, что новое государство рухнет, но пророчили, что оно станет скоро казармой с двенадцатью заповедями пролетариата и потонет в массовом лицемерии. Но только кто теперь их слушал, этих правооппортунистических нытиков, лжепророков? Главное, что темп революционной коллективизации убыстрился. И уже на горизонте брезжила победа генеральной линии партии. Еще немного — и осиное гнездо контрреволюции будет разгромлено.

Ах, как тяжело было осознавать зрителю губернского краеведческого музея Любе, что она как бы и в стороне от этой кипучей жизни. Орловцы поддерживали заключенных в гоминдановских застенках, разоблачали хлебных спекулянтов, умножали ряды Осоавиахима, боролись с классовыми извращениями кулаков. А она всего лишь сидела в музее, охраняла экспонаты. Конечно, она была девушка нового времени, коротко стриженная, в красной косынке, любила читать и цитировать “Известия”, чувствовала в себе кипучий напор энергии. И вынуждена была сидеть на стульчике в музее. Здешнюю работу она считала временной и в какие-то моменты ненужной. Какая новая, неповторимая бушевала за окном жизнь! А Люба охраняла старье. Если бы ей не сказал товарищ Артем, что это тоже нужно революции, она давно бы убежала отсюда. Только она все никак не могла понять, зачем это нужно было революции? Даже когда Артем здесь появлялся в новой кожаной куртке, в

АМИРГУЛОВА Валентина Ивановна родилась в 1953 г. в Орле. Окончила орловский машиностроительный техникум и факультет журналистики Воронежского университета. Автор 5 книг прозы. Член Союза писателей России. Живет в Орле

скрипучих сапогах, с широкой белозубой улыбкой, он казался в этом затхлом, с помутневшими витринами музейной подземелье посланцем из другого, светлого мира. А когда исчезал в свою манящую и завораживающую новизной жизнь с митингами, собраниями, партийными соратниками, Люба готова была умереть от тоски прямо здесь, на бархатном удобном стульчике из какого-то помещичьего особняка. Хорошо, что в музей приходили все больше молодые. Они как-то мимолетно осматривали экспонаты, пренебрежительно порой заявляли:

→ Осколки прошлого!

Они кидали взгляды на молодую смотрительницу, и та снисходительно, а то и смущенно улыбалась, будто она лично была виновата в том, что от прошлого все еще что-то оставалось. Когда в музее никого не было, Люба радовалась тому, что наступит такой день, когда от прошлого не останется никаких осколков, даже в музеях. Сейчас, конечно, об этом стоило только мечтать. Правильно говорил Артем, что враги искали малейшей лазейки, чтобы сбить победный шаг трудового народа, даже в юбилейный для вождя год. Находились же такие, кто даже в этой, далеко не самой провинциальной губернии осмеливались железного борца с нытиками и маловеерами называть всего лишь вождем большевиков!

Юбилей вождя как раз пришелся на канун Рождества. Нервно поправляя португепю, он возмущался русской дурью, которую не удавалось выбить уже добрый десяток лет. На прошлогоднее Рождество половина комсомольцев города не явилась на занятия в политшколы. Важно было, увязав с задачами пятилетки, доказать врагу в рясе, что для орловчан существовали только революционные праздники.

Любе хотелось бегать на конференции Союза воинствующих безбожников, оформлять в клубах уголки безбожников, призывать народ бойкотировать продажу икон и свечей, а в постные дни азартно зазывать всех на карнавалы, в кино, на лыжные прогулки. Только Артем считал, что идти в актив безбожников Любе было рановато:

— Нам нужны толковые бойцы. Поучись пока на безбожника.

За два дня до Нового года в бывшей часовенке на Ильинской площади открылась выставка “Церковь на службе буржуазного государства”. Это был расчетливый удар! Лучшего места для нее трудно было найти. В ту самую часовенку, в которую с таким благоговением заходили недавно богомольцы, голь перекатная с палочками, клюками, а также местные богатеи с непременными подношениями, местные разночинцы всех калибров, чтобы приложиться к образам в массивных золотых рамах, теперь забредали солдаты в шинелях, в грубых сапогах, с папиросами во рту, шелухой от семечек на губах, матросы с лихо сдвинутыми набок бескозырками и пробивавшимися из-под распахнутых бушлатов тельниками. Заскакивали пахнущие махоркой и дегтем мужики в тулупах, зипунах, полушубках с широкими откидными воротниками, в башлыках и дремучих шапках. Залетали вооруженные и невооруженные в кожаном обмундировании новые местные чины и прочий разномастный люд. Дамочек почти не наблюдалось. Бабы в шубах на вате, в суконках, бархатках, пестрых полушубках, мохнатых и облезлых, просачивались сквозь двери с тайной опаской и торопились выскользнуть незаметно с выпученными или опущенными глазами. А вот девицы с новыми революционными замашками, бравируя простецкими одеяниями, резкими суждениями, демонстрируя оружие, которое носили все больше в дамских сумочках, словно воробышки, перескакивали с чириканьем, сквозь которое пробивалось гневное рычание, от витрины к витрине. В общем, народу толпилось столько, что за неделю в часовенке побывало около семи тысяч орловцев, чтобы окончательно убедиться в том, что “рясники” — настоящие контры. Одно дело всякие там дискуссии и агитки, другое — факты и документы. А уж они-то красноречивее некуда доказывали, что церковный агитпроп шуровал на полную катушку. Здесь могли полистать брошюры “Собственность священна”, “Утешение и совет людям, живущим в бедности”, похихикать над орудиями шарлатанства — веригами, поржавелыми железными цепями с крестами для удобства ношения на плечах. И подивиться, сколько же верующий тратит на свои нужды — крестины, свадьбы, похороны. Что это, как не оплот бывшего

царизма, укреплявшего свои устои любым путем, закабалившего честной люд тяжкими поборами. У этой витрины, обличающей ненасытность мракобесов и черносотенцев, кто-то удумал класть деньги. И навалили солидную горку керенок, николаевских золотых пятирублевок, серебряных пятаков.

У Любы радостно звенело в голове от этой смеющейся, взвизгивающей, гогочущей круговерти, словно никто другой, как она, Люба, недавно забытая всеми в заштатном музее, подарила всем им надежду на новое и великое. Временами в ней начинало дихорадочно ликовать что-то смелое, дерзкое, непостижимое, за что она, наверное, готова была бы расплатиться ценой своей молодой, яростно kloкочущей жизни в ее хрупком теле. Она была благодарна восторгу румяного юноши из железнодорожных служащих, который завопил на всю часовенку:

— Ух ты! Здесь, как в нашем агитвагоне! Только бы еще летучий митинг устроить!

Она была довольна тем, что здесь никто не оставался равнодушным, и это странным образом будоражило ее, распяляло. И она обращалась чуть ли не с болью в сердце к мужикам:

— Вот посмотрите, товарищи, как старорежимные господа одурачивали нас, — обводя своими тонкими ловкими руками экспонаты, она, словно гостеприимная хозяйка, приглашала гостей на пиршество братства и взаимопонимания.

Мужики с кряхтением почесывали в башке заскоружеными пальцами. Но товарищи образованные с ходу откликались на Любин порыв, хотя без того внутреннего ликования, которое ей хотелось увидеть и в них.

— Это же акт прорыва через мертвый абсурд, — кивал Любе и товарищу интеллигент в пенсне на шнурочке.

— Нам нужно сообща бороться с черносотенной агитацией, — отвечал товарищ с запавшими глазами.

Если бы Люба могла говорить так метко и веско, как эти слуги революции, как их называл Артем! Их слова отпечатывались в ее взбудораженном мозгу, меняя, казалось бы, даже освещение в ее часовенке от сумрачного на розовое с красноватыми отсветами.

— Мы миндальничать не будем!

— Очистим место штыками!

— Нам нужна новая икона! И вот она!

И Люба тоже с удивлением и радостью смотрела, как бы впервые видя изображение рабочего, поднимающего тяжелый молот над головой. На нее загляделся настоящий рабочий — богатырь в облезлой ушанке. Его глаза вдруг огненно вспыхнули, и он вдруг плюнул на распятие в углу. Здесь у Любы что-то защемило в сердце, и она начала терпеливо объяснять рабочему, что распятие теперь как бы экспонат культуры. И он отчего-то вдруг испугался и плюхнулся на колени. Но тут же поспешно вскочил. А те, из интеллигентов, снисходительно улыбаясь, начали непонятно рассуждать о вековой темноте русского народа. Но Люба ободряюще улыбалась рабочему, и ей почему-то хотелось утешить его. Но он не захотел задерживаться здесь дольше.

Люба продолжала говорить новым посетителям прежние слова о религиозном мракобесии, но все чаще стала теряться, видя в удивленных мужичьих глазах тень недоверия к высказываниям. И была почему-то потерянно-благодарна, когда кто-нибудь поддерживал, ободрял ее пыл.

На этой выставке произошло столкновение, информация о котором попала в местную прессу. Завязался спор у Любы с бородатым мужчиной в дохе. Он кивнул на распятие Христа, который был выставлен без ноги, и вздрагивающим, словно от невыносимой боли, голосом выкрикнул:

— Кто это допустил, тот сам обезножет!

Конечно, Люба не смогла стерпеть этот наскок и выкрикнула с сердитым запалом:

— Мы разрушим все ваши идолы!

Но враг, видно, побоялся вступить в открытый бой. Он только токойно обвел дрожащей рукой все экспонаты и называл выставку дешевой и пустой подделкой, которая, как и написано в заветах, разрушится по Божьей воле в

единое мгновение. Потом в газете этому фанатику приписали угрозы о взрыве выставки. А девушку назвали бесстрашным бойцом за слово истины. Так Люба стала героем дня на той самой выставке. Вот только почему-то Люба не чувствовала себя победительницей в своих наскоках.

И надо же, тут же ей козырь, можно сказать, сам в руки приплыл. Из елецкого атеистического музея передали мощи Тихона Задонского. Вот оно, то самое, что должно укрепить позиции орловских безбожников, дать фактический материал для бескомпромиссной борьбы. Она слышала, что недавно был полувековой юбилей прославления мощей Тихона — у церковников тоже свои исторические даты. И на своем празднике они говорили о чудесах и благодати, ничего не пытаясь доказывать, тогда как, например, на полувековом юбилее вождя прославляли гения разума и борьбы, который спасал не одну заблудшую душу, а целый народ от бедности и бесправия и нововведениями в жизни доказывал свою правоту. Люба убедилась, что стихия жизни как бы специально схлестнула эти два юбилея для доказательства новой диалектики, которую понять в абстрактных рассуждениях она не могла. Но вот теперь обыкновенная смотрительница музея готовилась отрубить головы религиозным чудовищам. Про эти мощи она уже наслышалась. Ведь кисть у Тихона сделали всего лишь из картона телесного цвета и положили в раку. А кости — всего лишь трубочки из картона. В одном месте писали, что в раке были собраны кости юноши и пожилого человека. Вот в чем развенчивание святого! Вот только удивительно было, почему монахи из Задонска не хотели с этими куклами расставаться? За полвека не могли разобраться, что к чему? И это же надо, как ловко, гады, выжимали из трудового народа последние соки и копейки.

Когда привезли мощи, Люба не знала. Она как-то зашла в запасники поглазеть на чудные штуковины, и почему-то ей захотелось здесь побыть, словно сейчас она должна была узнать что-то важное. Она стояла в задумчивости...

Что она ощутила? Нечто странное в своем состоянии. Ее вдруг охватили детские воспоминания. Она увидела свою свечелку с восковыми канарейками на полочках этажерки, сусальными херувимами и пасхальными яйцами.

Вот ее кровать с кисейным покрывалом, где она перевидала столько блаженных снов, а в изголовье — медный литой старинный крест.

В углу — темная кипарисовая доска с образом Иверской Богоматери, хрустальная лампадка, качающаяся на серебряной подвеске. Вот стол с кружевной скатертью, а на нем — книжечка с вытисненным золотым крестиком. Вот она, склонив голову-одуванчик, листает раскрашенные картинки светлых ангелов в красных языках пламени, нечистых духов с вилами.

И радостное чувство покоя, осмысленности своей жизни, которое она не испытывала так давно и которого, оказывается, так не хватало ей теперь, накатило на нее блаженной волной. И вся ее прошлая жизнь совсем не чужая, а как давнее платье, которое она заново сейчас примерила на себя.

Люба очнулась удивленно, ощутив благоговие и запах ладана.

— Что это? — испуганно спросила она.

— Мощи Тихона привезли, — чуть слышно ответил хранитель и кивнул на угловую полку.

Люба кинулась туда. И надо же — сразу увидела торчащую из мешочка кисть руки, словно она тянулась к ней, Любе. Девушка отступила, почему-то судорожно схватилась за воротник халата и хотела убежать. Нет, нужно было все знать.

В газетах писали, что благовония от мощей исходят от массы смеси воска и ароматической смолянистой мастики. И эта масса, дескать, предохраняет от гниения любую кость хоть тысячу лет. Люба все же решила осмотреть мощи, но никакой массы не нашла, как и картонных костей, а вот благоухание стояло такое, что в какое-то мгновение она почувствовала себя как в райском саду. Вот странное сравнение пришло ей в голову!

Почему-то все как будто сместилось то ли в ее голове, то ли на самом деле.

Когда Люба вечером вышла на улицу, то не узнала ее. Перед глазами странная, словно опутывающая все ее следы решетка. А рядом храм с ослепительной золотой главой, купол в багряных отблесках, и пламенеет рвущийся вверх крест.

И как странно было теперь ей идти домой, в свою комнату, где четыре пустые стены, будто клетка, а на деревянной столешнице — стакан с недопитым морковным кофе, горка книжек революционеров-мечтателей, как кирпичи, лежали на этажерке, железная кровать с шишечками и полосатым пледом. Все как будто чужое, не ее. Да куда же деться от этого состояния потерянности!

Теперь Любе почему-то трудно было представлять себе новую жизнь. Нет, все же какая она будет другая? Артем говорил, что тогда не будет богатых оглоедов. И значит, она, Люба, девушка простая, не будет ни у кого в прислужниках, как ее мать. Но вот кому она служит здесь, в музее?

Однажды сюда забрел седой старичок в потертом полушубке и лисьей шапке, сгорбленный, хиленький, но с такими ласковыми глазами, что Люба почему-то приветливо улыбнулась ему.

— Следи, дорогая, чтоб все осталось в сохранности.

— Да кому все это нужно? — фыркнула смотрительница. — Это все буржуазные осколки.

Старичок так вдруг строго посмотрел на нее и спросил тихо:

— А ты знаешь, что приставлена сюда мощи Тихона охранять, вроде бы как прислуживать им? Он сам всю жизнь прислуживал, а теперь ты ему послужишь.

— Кому же это он прислуживал?

— А всему трудовому народу, — опять улыбнулся старичок. — Он же из самой бедняцкой семьи. Его ямщику богатому бездетному мать отдавала, да брат не отпустил. А когда он учился в семинарии, на казенном коште, терпел великую нужду. Получал казенный хлеб и половину оставлял себе, а другую продавал для свечей. А когда архиереем был, на постели даже одеяла не имел и сундука — только ветхая киса, а в ней — книги и гребенка. У него была только шуба овчинная одна да ряса суконная. Он две зимы в лаптях ходил. А все деньги, что получал из казны или давали благородные и купцы богатые, раздавал бедным, а если не хватало, брал в долг. А когда садился обедать за стол, говорил: “Слава Богу, вот такая у меня хорошая пища, а собратья мои — иной, бедный, в темнице сидит, а иной нуждную пищу имеет, а у иного соли нет”. И плакал о таких, покупал шубы, кафтаны, холст, иным хижины, иным — скотину. А когда раздаст все, посылал келейника занимать деньги у купцов: вот приходит бедная собратия ко мне и отходит без утешения. Он содержал бедных крестьян на своем коште, за них подушные и прочие подати платил, хлебом кормил и одевал. Когда в Ливнах был большой пожар, деньги раздавал. В Елец ходил в острог и утешал, а иных узников содержал в своем коште.

Выслушала его Люба без смущения, но с большим удивлением. Нет, не поверила она старичку, который поклонился ей и исчез, словно не было его. Кто же такой был этот Тихон, о котором сейчас говорили, как о развратном старце?

Кинулась она к экскурсоводу:

— У вас нет рассказа о жизни Тихона Задонского?

— Есть, только мы приготовили к уничтожению по распоряжению губернских властей.

Люба выпросила книжечку до вечера. И читала ее до закрытия музея. Оказывается, старичок вроде бы и правду говорил. И опять этому не поверила Люба. И только сомнения ее улетучились, когда она прочла несколько доподлинных писем из Елецкого музея, где разные люди описывали милостыни Тихона.

Ох, у Любы совсем все стало переворачиваться в голове! Вот Артем мог бы что-то просветлить, но она почему-то стала опасаться говорить с ним о мощах...

И все же не выдержала и спросила Артема:

— А зачем мощи отправили в музей?

— Я тоже считаю, что лучше бы их уничтожить. Только люди у нас еще не пришли в разумение. Мощи — это старый языческий пережиток.

И тут Люба задала вопрос, от которого Артема словно током ударило, он даже от нее отшатнулся:

— А в Мавзолее у нас тоже мощи лежат? Но ведь там за ними следят — а не то, что за этими.

— Ты знаешь, что такое эти самые мощи! — вдруг заорал Артем, словно Люба совершила преступный сговор. — Это всего лишь мумификация. Тело высыхает, а кости обтягивает кожа. Это ж просто!

И вдруг Люба невпопад произнесла:

— А Тихон Задонский плакал обо всех бедных и старался всем помочь.

Артем уже не злился, а подняв палец перед Любой, четко выстреливал ей в лицо слова:

— Уничтожать богатых — вот единственный путь помочь бедным. Без богатых бедные станут хозяевами жизни и сами себе помогут. В музее ты скоро совсем разучишься понимать жизнь.

— Да, наверное, так, — покорно согласилась Люба. Может, и в самом деле она поглупела в музее? Только ей почему-то уже не хотелось уходить отсюда. Ей нравилось быть при мощах Тихона, который так плакал обо всех бедных. Артем никогда не заплакал ни об одном бедном. Он просто не может плакать. Но Тихон Задонский плакал и о нем. Люба запомнила эти слова из книжечки “Житий”, которую уже сожгли, но они затаились в ее сердце:

“Отвержение от Христа есть тяжкое и пагубное дело, ибо отрекшиеся от Христа отрекаются от жизни и повергают себя в явную смерть”.

Так что же получается, и Люба, и Артем повергли себя в смерть? Так говорил Задонский, она должна быть не верить, но она была так благодарна за слезы Тихону.

Что-то произошло теперь у Любы с Артемом. Она уже не могла смотреть на него восторженно, хотя все еще любила и мечтала выйти замуж.

Да и он потихоньку охладевал к ней. Рассуждения какие-то у нее прорывались, будто она вот-вот готова была стать на точку зрения буржуазного отребья...

...А весной Люба заболела тифом. Когда она очнулась в больнице, наголо стриженная, ослабевшая, обвела белые стены тяжелыми пожелтевшими глазами, первой мыслью ее было: как там дела в музее? Она с трудом пошевелилась, левая нога и левая рука ее не двигались. Она откинула бурое одеяло, посмотрела на свои тощие ноги, руки и поспешно закуталась в одеяло, боясь, что сейчас начнет выть в нечеловеческом отчаянии.

Врачи первое время ничего не говорили Любе, только осматривали ее, выслушивали.

— Вам нужно хорошее питание, — наконец сказали в один голос трое врачей в пенсне, больше они ничего добавить не могли.

Люба боялась прихода Артема. Ей говорили, что он навещал, когда она была без памяти, но почему перестал ходить теперь? Может, врачи сказали, что она теперь инвалид? Артем не способен был на жалость. Если бы он не был железным Артемом, он был бы сокрушен. Да и Любе не нужна была жалость: “Отрекаются от жизни, повергают себя в смерть...”

Вот она умирала, а теперь оживает. Но разве она не чувствовала себя совсем мертвой? Из ее глаз исчез желтый блеск, они снова стали затягиваться голубизной, но были пустыми, а в душе ее таился мохнатый обволакивающий страх.

Из окна она видела сизо-лазурный небосвод, царственно раскинутые руки деревьев, персты которых с еле уловимой дрожью пытались дотянуться до мутного серого стекла, как до незримой преграды, напоминая о вечной тайне весеннего воскресения. И ей сейчас вспоминались рождественские деревья в сказочном инее, который казался особенно удивительным после полумрака на выставке в Ильинской часовенке, всплывало голубоглазое бледное лицо мужчины в дохе, вытертой у воротника, и его длинные нервные пальцы, показывающие с дрожью на распятие с отрубленной ногой. И у Любы судорожно сжималось сердце. Неужели она останется хромой на всю жизнь?

В природе все незаметно менялось. Окна заливали закатные кровавые лучи солнца, заглядывала удивленно светлая луна и те же млеющие от лунного света ветви. И вся природа словно вопрошала о чем-то тревожном, непостижимом. Люба уже чувствовала не страх и боль за свою ногу, а тяжелую душевную тоску, которая, кажется, навсегда отняла у нее возможность радоваться, затенив все светлое, нежное, теплое, лишь храня воспоминания о

грохочущем, ревушем, гогочущем. Как бесконечно одинока она была на этой узкой железной кровати с казенным одеялом, в этих серых стенах, отгородивших от нее, видно, навсегда тот мир, который ей хотелось узнавать, любить.

Но Люба, как ни странно, радовалась блаженному состоянию, как забытью, которое окутывало ее сиреневым дымящимся весенним маревом, тусклым голубоватым проблеском окна, в котором мерещилась другая, настоящая жизнь. Какая? Вот что не удавалось ей понять. И когда однажды в ее забытии гулко загудел колокол, воображению представился собор в полумраке, панихидное пение, священник в золотом облачении у амвона и ее маленькая стройная фигурка в белом вуалевом шарфе у колонн, украшенных позолотой и живописью, ее умоляющий шепот:

— Господи, прости!

И какое томление на сердце, неизреченная сладость в предвкушении какого-то освобождения, прощения, облегчения и радость встречи с вечностью, которую она теперь ощущала, как великую непостижимую тайну.

Теперь она не боялась снова увидеть лицо Артема с тяжелыми тупыми скулами, холодный выцветший взгляд, сведенные черные брови, сухую ироничную улыбку, его остриженную ежиком голову, услышать его отрывистые желчные, громкие слова. Она знала, что если он испугается ее физического уродства, ей труднее будет почувствовать его чужим.

И когда он появился прежний, с мутно-стальными отблесками в глазах, беспощадный и жестокий, все в той же блестящей кожанке, впервые жалко сморщился, увидев ее слезы. Но он не знал, что она заплакала не о себе, а о нем, почувствовав себя чужой ему. Она предала его мечты о завтрашнем счастье. Она слушала его слова о человеческом единстве, о духе высокой борьбы, о жертвенности ради нее. И впервые не верила ему, чувствуя, как сильнее деревенеют отнявшиеся рука и нога. И она так ясно поняла, что именно сейчас и только здесь, в этой серой клетке, пахнущей, кажется, тленом и кровью, она сможет, убогая, жалкая в его глазах, сказать всю правду, что он поймет: не она, а он ей не нужен.

— Я не люблю тебя, Артем, и радуюсь этому, потому что мы — чужие.

Спокойная, твердая интонация ее голоса сказала ему больше, чем сами слова. Она впервые увидела в его глазах мелькнувшую беспомощность, ради которой она снова могла бы поверить и в него, и в себя. Но он неловко дернулся, будто у него была парализованная рука и нога, как бы враз стряхнув опавшие нити их связи. И ответил с металлической дрожью в голосе:

— Все к лучшему. Чтобы быть неустрашимым бойцом, нужно оставаться одному.

Неужели она чем-то размягчила его железность, и от этого ему было не по себе?

Оставшись одна, Люба почувствовала радостное, ни с чем не сравнимое облегчение, которое временами гасло в отчаянном чувстве потерянности, затягивающем, словно хлипкое бездонное болото. Тогда она пугалась, как же ей жить? Зачем? Безмозглая уродина! Кому она нужна в этой новой жизни? Даже в музей ее вряд ли возьмут работать. На ее место придет другая, бойкая, самонадеянная, какой была она недавно, станет, захлебываясь, рассказывать о новой жизни и, может быть, потребует выкинуть мощи Тихона, ведь некоторые до сих пор называют их святыми. От этой мысли у Любы сжалось сердце. Она поняла, что должна быть в музее, и в бессознательной мольбе стала просить:

— Отче Тихоне, помоги хотя бы добрести до музея.

На другой день она встала, волоча ногу, через неделю уже ходила, прихрамывая. Но ее больше радовало чувство покоя, которое все глубже проникало в ее душу. Все, что раньше раздражало, мучило, теперь отступало, и она видела себя как бы со стороны — голый череп, покрывающийся пушком волос, спокойные ясные глаза.

Когда Люба вышла из больницы, она не знала, как теперь будет жить инвалидкой. И как она обрадовалась, когда в музее ей снова разрешили быть зрителем. Она переступила порог, пошла по мраморной лестнице в залы и вдруг почувствовала себя счастливой. Отчего, почему — ей трудно было объяснить. Она ощущала себя нужной здесь и только здесь. Нужной, без руки,

больной, слабой, то ли мертвой, то ли живой, но только нужной. Как это точно сказал Тихон Задонский: “Когда один страждет в теле, то и прочие члены состраждут”. Ведь так и люди должны сострадать друг другу, тогда они суть едины. Это же так просто. Если они едины, тогда не делают друг другу зла, помогают, защищают и не гордятся друг перед другом и не презирают. Если бы Артем подслушал эти мысли Любы, он счел бы ее сумасшедшей. Нет, скорее бы своим врагом и, значит, врагом революции. Такой, без руки, она смогла бы служить революции. Но случилось что-то с ее головой. Что голова замышляет, то руки делают. Когда голова страждет, то и все телесные узы страждут. Это слова Тихона Задонского о Боге и человеке. Голова — это Господь, а члены — люди.

Люба вспомнила, как люди исцелялись от мощей. Скольким людям он помог, неужели не поможет ей?

Она спустилась в запасник. А хранитель, словно почувствовав, что ей нужно побыть одной, вышел. Люба упала на колени перед мощами, которые все так же лежали на полке, накрытые синей материей, со слезами в голосе начала молить:

— Тихоне Задонский, помоги мне. Я верю тебе, потому что ты плакал о нас, бедных. Да, ты прав: плачут люди, ибо живут в мире — месте плача. Но слезы твои не оттого, что люди окованы узами и кандалами и не имеют свободы. Ты плачешь над душой, которая связана нашими грехами.

Потом Люба сидела и просто плакала, разговаривала с мощами, не понимая, во сне она или наяву. Наконец она встала и поправила правой рукой материю, которая, показалось, чуть сползла... и остолбенела. И тут же зарыдала во весь голос, не поверив в чудо своего исцеления. Когда, услышав ее рыдания, прибежали служители, бросились к ней с расспросами, она испугалась рассказать о новом чуде, испугалась за мощи, которые могли бы выкинуть отсюда и уничтожить. Отныне она будет с великим благоговением охранять их, а они ее.

Внешне ничего не изменилось в жизни Любы. Она изо дня в день, из года в год ходила в музей. Ее уже стали называть Любовью Ивановной. Она уже начала носить очки. Всегда была молчалива и даже как будто скрытна, не любила почему-то выходных, праздников.

Когда началась Великая Отечественная, Любовь Ивановна уже теперь не знала, как ей поступить. Отправиться в эвакуацию вместе с ценными музейными экспонатами или же оставаться в городе? Она видела общую панику, люди хотели спастись. И ей почему-то стало страшно.

И вдруг ее сомнения враз исчезли.

В музей зашел священник Околович и обратился со странной для того времени просьбой:

— Гитлеровцы наступают. Вам нужно срочно эвакуироваться. Отдайте нам мощи на хранение.

Конечно, отдать экспонат было невозможно, даже в то военное время, но Околович вдруг произнес странную фразу:

— Если мощи останутся в Орле, город будет спасен.

Люба, которая оказалась случайной свидетельницей этого разговора, удивилась прежде всего силе этих христиан. В то время, как все норовили спастись, они будто и не думали о своем спасении. В этом по-прежнему для Любы была большая тайна. Но странное дело, ее сомнения сразу же и улетучились. Никуда она не хотела из города уезжать и верила, что теперь мощи будут охранять ее и весь город. Если есть такие люди, как Околович, и он не боится пострадать за веру, значит, Бог должен спасти этот город. Это же и в Писании сказано, что Бог сохраняет город даже ради одного праведника.

Теперь Любовь Ивановна верила в это больше, чем в реальность своего существования.

Верила в это она и когда немцы оккупировали Орел. Сразу открылся Богоявленский собор. Мощи святого находились справа на небольшом помосте под резным позлащенным навесом в деревянной раке. Люди припадали к стеклянному оконцу в крышке раки, где проступала сквозь бархатное покрывало голова в епископской митре, лежала кисть руки. Со стоном и плачем они молили:

— Преподобне отче Тихоне, моли Бога о нас!

А Любовь Ивановна почему-то смотрела с радостным сердцем на них, на раку, на иконки, лампадки. И однажды она не выдержала и громко сказала:

— Люди добрые, неужели вы не видите милость Божию к вам? Мощи вернулись в храм, когда гибель подступила, значит, будет нам спасение. Это же знамение — выстоит город.

И все так обрадовались, кинулись к Любове Ивановне с объятиями, будто ее устами Святой Дух благовествовал. А она сама не знала, почему все это сказала. Чудно было, да и только. Но ведь сама же сильно верила в это. А особенно еще больше уверовала, когда чудом спаслась. Началась бомбежка, по небу неслись черные птицы смерти с оглушающим ревом. А Любовь Ивановна сидела в своей махонькой квартирке с большим фикусом и репродукциями старого Орла и слезно молила:

— Отче Тихоне, помоги, отче Тихоне, моли Бога о нас! Бой идет смертный, гибнут люди, солдаты головы свои кладут. Но если не поможешь, не устоит и наша защита. Отче Тихоне, моли Бога о нас!

И вдруг в дверь тихонько постучали:

— Люба, открой, я от Тихона.

Она открыла дверь и увидела длинного бородатого мужчину с военной выправкой, в пиджаке и длинном шарфе. Он поклонился и сказал:

— Выходи из дома, он сейчас разрушится. Вещи не бери, не успеешь. — И побежал.

Выскочила Люба на улицу, а там уже целая толпа людей, соседей, за руки держат детей, трясутся, молятся, плачут — всех выгнал этот чужак из дома.

— Кто это? — показала Люба на длинного.

Соседка, вытирая глаза подолом фартука, который не успела снять, всхлипнула:

— А это Афанасий Андреевич, наш юродивый, ай не знаешь?

— Праведник, стало быть, раз юродивый.

— Праведник, праведник, истинный праведник.

И тут в дом с оглушающим треском попала бомба. Он, окутавшись пылью, осел.

— Ох, ох, — зарыдали женщины и завывли, и запричитали.

— А город-то наш выстоит! — громко закричала Любовь Ивановна, но ее никто не услышал.

г. Орел

